



Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни.

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины; служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» — между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих годах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу.

Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными,

но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют *bel homme**.

В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно — и для себя и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости, — должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом; белье носил отличное; руки у него были полны и белы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек вместе с чаем принес ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федорычем Адуевым, а его — Петра Ивановича — дядей и обещался зайти часу в двенадцатом.

Петр Иванович, по обыкновению, выслушал это известие покойно, только немного наострил уши и поднял брови.

— Хорошо, поди, — сказал он слуге.

Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался.

— Племянник из провинции — вот сюрприз! — ворчал он, — а я надеялся, что меня забыли в том краю! Впрочем, что с ними церемониться! отделаюсь...

Он опять позвонил.

— Скажи этому господину, как придет, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца.

— Слушаю-с, — отвечал слуга, — а с гостинцами что прикажете делать?

* Представительный человек (*фр.*).

— С какими гостинцами?

— Привез их человек: барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала.

— Гостинцев?

— Да-с: кадочка меду, мешок сушеной малины...

Петр Иваныч пожал плечами.

— Еще два куска полотна да варенье...

— Воображаю, хорошо должно быть полотно...

— Полотно хорошее и варенье сахарное.

— Ну поди, я посмотрю сейчас.

Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота: букву В заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву К просто две палочки; писано без знаков препинания.

Адуев стал читать вполголоса:

Милостивый государь Петр Иваныч!

Будучи с покойным вашим родителем коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминем и Бога молим...

— Что за дичь? От кого это? — сказал Петр Иваныч, поглядев на подпись. — Василий Заезжалов! Заезжалов — хоть убей — не помню. Чего он хочет от меня?

И стал читать дальше.

А моя покорнейшая просьба и докука к вам — не откажите, батюшка... вам в Петербурге не то что нам, здешним, чай, все известно и все свое да родное. Навязалось

на меня проклятое тяжёбное дело, да вот седьмой год и с шеи не могу спихнуть: изволите помнить лесушко, что в двух верстах от моей деревушки? Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее: пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах все без спросу рыбу ловил; покойник батюшка ваш гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору жаловаться, да по доброте, дай Бог ему Царствие Небесное, спускал, а не надо бы щадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Петр Иванович; дело теперь в Правительствующем сенате; не знаю там, в каком департаменте и у кого, да вам, чай, сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки, истинно от ошибки в купчей страдаю: для вас все сделают. Там же уж кстати выхлопочите мне патенты на три чина да пришлите ко мне. Еще, батюшка, Петр Иванович, есть дельце до вас крайней потребности: взойдите в сердечное участие к безвинно-угнетенному страдальцу и помогите советом и делом. Есть у нас в Губернском правлении советник Дрожжов, золото, а не человек; умрет, а своего не выдаст; в городе другой квартиры не знаю, как у него, — как приеду, прямо к нему, живу по неделям — и боже сохрани и подумай у другого остановиться, закормит, запоит; а бостончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иванович: дело ли делать — так и кипит в руках; скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, — вас послушают, и отпишут с первой почтой ко мне. Да повидаетесь со старинным моим сослуживцем, Костяковым. Я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же

петербургского — чай, изволите знать, — что он живет на Песках; там ребяташки укажут дом; отпишите с той же почтой, не поленились, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня? Познакомьтесь и подружитесь с ним: прекрасный человек — душа нараспашку, и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей...

Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку, потом потянулся и зевнул.

Он взял другое письмо и начал читать также вполголоса.

Любезный братец, милостивый государь Петр Иванович!

— Это что за сестрица! — сказал Адуев, глядя на подпись, — Марья Горбатова... — Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то... — Что, бишь, это такое? что-то знакомое... ба, вот прекрасно — ведь брат женат был на Горбатовой; это ее сестра, это та... а! помню...

Он нахмурился и стал читать.

Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами; прошли года...

Он пропустил несколько строчек и читал далее:

По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, вы, с опасностью жизни и здоровья, влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька оного тек какой-то сок и перемарал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть; мы очень много

тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в книжке...

Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; он даже недоверчиво покачал головой.

А целая ли у вас та ленточка (продолжал он читать), что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления...

— Я вытащил ленточку! — сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал:

А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретит вспоминать сии блаженные времена...

— А, старая девка! — подумал Петр Иванович. — Немушно, что у ней еще желтые цветы на уме! Что там еще?

Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне ее; я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой причине — напишите откровенно: ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите; сгораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки...

— Нет, вот твои так неизъяснимые строки! — подумал Петр Иванович.

Я не знала (читал он), что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, — счастье-вец! увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, — а я, я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку: арап с двумя собаками; вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор: что может быть святее дружбы и верности?.. Теперь меня занимает сия одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что ни есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени, из первого магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль оставливает перо мое! может быть, уже вы забыли нас, и где вам помнить бедную страдальцу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет! я не могу подумать, чтоб вы могли быть извергом, как все мужчины: нет! мне сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит...

*Остаюсь по гроб ваша
Марья Горбатова*

P. S. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? пришлите, если вам не нужно: я бы на каждой странице вспоминала вас, плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского, — хоть их;

а то я еще видела в газетах заглавие — «О предрассудках», сочинение» господина Пузины — пришлите, — я терпеть не могу предрассудков.

Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился.

— Нет, — подумал он, — сберегу: есть охотники до таких писем; иные собирают целые коллекции, — может быть, случится одолжить кого-нибудь.

Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо и начал читать:

Любезнейший мой деверек Петр Иванович!

Помните ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него да вспомните покойника, нашего голубчика Федора Ивановича: ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело мое материнское сердце, отпускаяючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам: не велела нигде приставать, кроме вас...

Адуев опять покачал головой.

— Глухая старуха! — проворчал он и читал:

Он, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушила взъехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании! Не оставьте его, любезный деверек, вашими советами и возьмите на свое попечение; передаю его вам с рук на руки.

Петр Иванович опять остановился.

Ведь вы там один у него (читал он потом). Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не взыскивайте очень строго: взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего; он же сам такой ласковый: вы только увидите его, так и не отойдете. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтоб берег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего: он у меня был нежененький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, — ведь вы, я чай, в одной комнате будете спать, — Сашенька привык лежать на спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется; вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчас и пройдет, а летом покрывайте ему рот платочком: он его разекает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его также в случае нужды и деньгами...

Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочел далее:

А я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтоб он не тратил их на пустяки да чтоб у него подлипалы не выманили, ведь там у вас, в столице, слышь, много мошенников и всяких бесовестных людей. А затем простите, дорогой деверь, — совсем отвыкла писать. Остаюсь

душевно почитающая вас невестка

А. Адуева

P. S. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев — малинки из своего сада, белого медку — чистый, как слеза, — полотна голландского на две дюжины рубашек да домашнего

вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут — еще пришло. Присмотрите и за Евсеем: он смирный и непыющийся, да, пожалуй, там, в столице, избалуется, — тогда можно и посесть.

Петр Иванович медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому.

Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей: надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью, — за что же он, Петр Иванович, обременит себя заботливостью о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, не за что.

Но, с другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности... вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе — не будет ли он отвечать перед совестью?..

Тут кстати Адуев вспомнил, как семнадцать лет назад покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него

в Петербурге, он сам нашел себе дорогу... но он вспомнил ее слезы при прощанье, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова: «Вот когда вырастет Сашенька — тогда еще трехлетний ребенок, — может быть, и вы, братец, приласкаете его...» Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю...

— Василий! — сказал он, — когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь сверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, то скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостицы! Ну что мы станем с ними делать?

— Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мед: «Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берет...

— Прекрасно! отдай ему. Ну а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь — его можно есть: кажется, порядочное.

Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.

— Мать твоя правду пишет, — сказал он, — ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда — напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.

За этим Петр Иванович начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намывивал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим

приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

— Ну что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? — спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.

— Маменька, слава богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже, — сказал робко Александр Федорыч. — Тетушка поручила мне обнять вас... — Он встал и подошел к дяде, чтоб поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся.

— Тетушке твоей пора бы с годами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад...

Озадаченный Александр задом воротился на свое место.

— Вы получили, дядюшка, письмо?... — сказал он.

— Да, получил.

— Василий Тихоныч Заезжалов, — начал Александр Федорыч, — убедительно просит вас справиться и хлопотать о его деле...

— Да, он пишет ко мне... У вас еще не перевелись такие ослы?

Александр не знал, что и подумать — так его сразили эти отзывы.

— Извините, дядюшка... — начал он почти с трепетом.

— Что?

— Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов... Я не знал вашей квартиры...

— В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя бог знает что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не зная, можно ли у меня остановиться или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для

одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная — лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня... А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру...

— Ах, дядюшка! — сказал Александр, — как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места, с намерением словом и делом доказать свою признательность.

— Тише, тише, не трогай! — заговорил дядя, — бритвы преострые, того и гляди обрежешься сам и меня обрежешь.

Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.

— Комната превеселенькая, — начал Петр Иванович, — окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть; если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорога — сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо привыкаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол — un chez soi, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие дни — здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом: дома и покойнее и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли?

— Я, дядюшка, очень благодарен...

— Что за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду; у меня и служба и завод...

— Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод.

— Стекланный и фарфоровый; впрочем, я не один: нас трое компаньонов.

— Хорошо идет?

— Да, порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года — хоть куда! Если б еще этак лет пять, так и того... Один компаньон, правда, не очень надежен — все мотаает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, — тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться.

«Так вот как здесь, в Петербурге... — думал Александр, сидя в новом своем жилище, — если родной дядя так, что ж прочие?..»

Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату:

«Что это за житье здесь, — ворчал он, — у Петра Иванныча кухня-то, слышь, раз в месяц топится, люди-то у чужих обедают... Эко, господи! ну народец! нечего сказать, а еще петербургские называются! У нас и собака каждая из своей площадки лакает».

Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов... и сравнил с тем, что видел, назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.

Он вышел на улицу — суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот

Иван Иванович идет к Петру Петровичу — и все в городе знают зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвееч вышел из дому, с толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний моцион, что у него без того желудок не варит и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем ни встретишься — поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедши домой, опишут и костюм и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.

Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? — думал он, — не этот ли?» Но вскоре это надоело ему — министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу.

Он посмотрел на дома — и ему стало еще скучнее: на него навели тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошную

массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, — думал он, — или горка, или зелень, или развалившийся забор», — нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево — всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, — кажется, и мысли и чувства людские также заперты.

Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, — купец Изюмин охотник гонять их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше и по утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом — точно фонарь: со всех четырех сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорания; тес принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? Авось!» — скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется диконький

дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени, тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церковей дома отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места — так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов, да еще, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там, в городе, две-три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука — и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей.

А здесь... какая тоска! И провинциал вздыхает, и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости, этих больших раков и раковин да красных рыбок, там и смотреть не станут и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него

в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас? — скажет он. — Да у нас это и люди не станут есть!..»

Еще более взгустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он под конец бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы; все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню...

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают — ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Всё назаперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там — так настоящий сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник — так родственник: умрет за своего... эх, грустно!

Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед Медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания — и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам,

палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа — все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира... В этих мечтах воротился он домой.

Вечером, в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.

— Я только что из театра, — сказал дядя, лежа на диване.

— Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошел вместе с вами.

— Я был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? — сказал Петр Иванович, — вот завтра поди себе один.

— Одному грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением...

— И незачем! надо уметь и чувствовать и думать, словом, жить одному; со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично.

Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет? — думал он, — синий сюртук, синие панталоны...»

— У меня, дядюшка, много платья, — сказал он, — шил Кенигштейн; он у нас на губернатора работает.

— Нужды нет, все-таки оно не годится, на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?

— Я приехал... жить.

— Жить? то есть если ты сумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко: тебе

так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись...

— Пользоваться жизнью, хотел я сказать, — прибавил Александр, весь покраснев, — мне в деревне надоело — все одно и то же...

— А! вот что! Что ж, ты наймешь бельэтаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?

— Ведь это очень дорого, — заметил наивно Александр.

— Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, — сказал Петр Иванович. — Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне; он хочет пользоваться жизнью, так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать по стольку же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты — нет! ты не за тем приехал.

— По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.

— Почти так; это лучше сказано: тут есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, как собирался сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не лишнее.

— Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! — с гордостью отвечал Александр.

— Так что же ты не говоришь? ну, зачем?

— Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить...

Петр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и наострил уши.

— Осуществить те надежды, которые толпились...

— Не пишешь ли ты стихов? — вдруг спросил Петр Иваныч.

— И прозой, дядюшка; прикажете принести?

— Нет, нет!.. после когда-нибудь; я так только спросил.

— А что?

— Да ты так говоришь...

— Разве нехорошо?

— Нет, — может быть, очень хорошо, да дико.

— У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, — сказал смутившийся Александр.

— О чем же он так говорил?

— О своем предмете.

— А!

— Как же, дядюшка, мне говорить?

— Попроше, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя; ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуны, — так ли?

— Да, дядюшка, карьеру...

— И фортуны, — прибавил Петр Иваныч, — что за карьера без фортуны? Мысль хороша — только... напрасно ты приезжал.

— Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? — сказал Александр, глядя вокруг себя.

— Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я — большая разница.

— Я никак не смею сравнивать себя с вами...

— Не в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб

поддалась новому порядку; а тамошний порядок — ой-ой! Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать.

— Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью...

— Советовать — боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор — станешь пенять на меня; а мнение свое сказать — изволь — не отказываюсь, ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь: как переработаете его? Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают... как я отучу тебя от всего этого? — мудрено!

— Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею...

Петр Иваныч при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился.

— Дело, кажется, простое, — сказал дядя, — а они бог знает что заберут в голову... «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты

счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном.

— Как, дядюшка, разве дружба и любовь — эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь...

— Что?

Александр замолчал.

— «Любовь и дружба в грязь упали!» Ну, как ты этак здесь брякнешь?

— Разве они не те же и здесь, как там? — хочу я сказать.

— Есть и здесь любовь и дружба, — где нет этого добра? только не такая, как там, у вас; со временем увидишь сам... Ты прежде всего забудь эти священные да небесные чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть, право лучше, будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад: если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь... Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал: нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне... Всё у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать.

Александр Федорыч пошел домой.

— Послушай, не хочешь ли ты поужинать? — сказал Петр Иванович ему вслед.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

